

Надпись на камне

Из года в год мы со своим школьным товарищем проводили начало летнего отпуска в деревне Воздвиженке. Как покончим с экзаменами, так сейчас же туда, чтоб успеть окунуться в прозрачную тишину горных озер вблизи Каслей, пока еще не налетели сюда шумливые люди с ружьями и суматошливыми собаками.

В Воздвиженке, на стекольном заводе, принадлежавшем тогда Злоказову, у моего товарища был дальний родственник, старик-одиночка Иван Никитич. Большую часть своей жизни он проработал столяром-модельщиком при цехе художественного литья в Каслях, но под старость, неожиданно для всех своих знакомых, переселился в Воздвиженку, где и работы по специальности не было. О своем переезде старик говорил:

— Не до смерти же мне чугунными игрушками забавляться, пора и около сурьезного дела походить. А сурьезнее кабацкого разве найдешь. Гляди-ко, начисто всех спойть желают. На любую деревню по три кабака открыли. И мошенства такого, как здесь, — весь свет обойди, — не найдешь. Вот и любопытно на такое поближе поглядеть, на кабацких мастеров полюбоваться.

Потом, усмехнувшись, добавлял:

— Ну, и Синарское тут под боком, а оно мне любее всех наших озер пришлось.

Последнее, конечно, и было действительной причиной переселения. Но были и другие, о которых можно было догадываться.

У Ивана Никитича не задалась семейная жизнь. Жена, говорят, на редкость красавица, умерла совсем молодой, оставив двух дочерей. Дочери унаследовали редкую красоту матери и ее недуг. Чахоточные красавицы дожили до совершеннолетия и одна за другой умерли, растревожив на всю жизнь не один десяток молодых людей, которых сильно тянуло к окнам дома Никитича.

Это семейное несчастье, видно, и заставило старика покинуть насиженное место в Каслях и уйти в созерцательную жизнь рыбака с удочкой. Раньше, говорят, Никитич к числу рыбаков вовсе не принадлежал.

Сам старик, однако, об этом никогда не говорил. Держался он весело, бодро и не любил, когда кто-нибудь называл его дедушкой.

— Какой я тебе дедушка. Я еще молодой. Того и гляди, женюсь. Вот только волосы на маковке отрастить осталось.

Говорилось это шутя, но все же с этим считались, и взрослые обычно звали кум Никитич, а молодежь — дядя Ваня.

Слабостью дяди Вани была его привязанность к «ученым из простого народу». Неважно, кто где учился: в фельдшерской школе или в Уральском горном училище, в учительской семинарии или в торговой школе, лишь бы учился и был «из простого звания». Таким Никитич готов был оказывать услуги, а кой-кому и денежную помощь. В его маленьком домике летом бывало немало городской учащейся молодежи. Стоило побывать раз, и ты получал право приехать «по знакомству» в любое время и располагаться у него, как дома, если даже хозяин был в отлучке. Ставилось лишь два условия. Старик не употреблял ничего спиртного и от посетителей требовал, «чтоб и духу этого в моем доме не было». Кто не удовлетворял этому условию, с тем Никитич «раззнакамливался» очень решительно и навсегда:

— Таких полон дом набить могу, да мне их не надо.

Второе требование было пустяковым: «Уходишь — ключ клади на место», то есть затыкай в щель, известную всей деревне, — около правого угла притолоки.

Таков был наш «знакомец» в Воздвиженке. Про дорогу от станции Полдневая тогда говорилось:

— Верхом либо пешком — сердцу радость, на колесе — кишкам надрыв. — Мы, конечно, предпочитали пешеходный способ. Он же лучше подходил и к нашим финансам. Ноги свои ничего не стоят, а коли еще и сапоги снять, то и вовсе дешевка. Поэтому мы не стали обольщаться явно провокационными обещаниями станционных ямщиков «домчать в один часик» и сразу направились к лесу. Там вырезали по хорошей вересовой палке, разулись, вскинули свой багаж вместе с сапогами на концы палок и зашагали по знакомой лесной дороге, богато вышитой фантастическими узорами высунувшихся из земли корней. Идти по такому узору было куда приятнее, чем ехать.

Сначала босые ноги чувствовали много острых углов и всяких шероховатостей, но скоро это прошло. На смену пришли другие ощущения: горячая ласка прогретого солнцем мелкого горного песка, освежающая влажность глины, теплота узорчатых ковриков конотопа на дороге и мягкий подстил белой каши по обочинам. Доцветали ландыши и лесные орхидеи, во

всю силу цвела земляника, по низинам виднелись кольца и петли глазастых незабудок, из сочной густой зелени взлетали петушки и курочки лесных лилий. И над всем этим густой настой горного соснового бора и неуловимая мелодия музыки вершин.

Здоровым заводским парням, просидевшим зиму за учебой, и в возрасте двадцати лет доступна еще радость бегать по траве босиком. Мы и козликовали до самого озера Иткуль. Красивое озеро вовсе разнежило. Даже высунувшаяся из воды серая громада Шайтан-камня в игре светотеней и блеске водной равнины кажется согретой. Как будто старый Шайтан только что окунулся каменным лицом в воду, по-стариковски добродушно усмехается и говорит:

— Ай-яй, тепло. Старым костям хорошо.

До того разнежил Иткуль, что совсем было собрались остаться здесь на ночь, но потом передумали: «Завтра праздничный день. Никитич наверняка будет свободен. Надо поторапливаться».

В Воздвиженку пришли как раз в то время, когда возвращалось с пастбища стадо коров. Старик Никитич оказался дома. Он стоял у шестка и подкладывал мелкие дровца под трехногий чугунок, в котором варилась уха.

— Вот и ладно — сразу к ушке, — обрадовался старик. — А я уж который день вас поджидаю. Пора, думаю, этим, а колокольцы не звенят. Едут, да другие, и все не ко мне.

— Да мы пешком, Иван Никитич.

— Не слепой, поди-ко. Вижу, что булашек искупать надо. В ограде под потоком в полубочье вода хорошая. Ополосните ноги-то, а я тем временем на стол соберу. Оголодали, поди, за зиму, стосковались по рыбке?

Когда мы, умывшись и ополоснув ноги, пришли в избу, старик спросил:

— Чуете, сколь хорошо стало? — Потом наставительно добавил: — А по колокольцам не тужите. Пеший человек больше видит, да и примета одна есть...

— Какая?

— А такая... Кто к колокольцам привык, тот уж не рыболов и не охотник. Не самостоятельный совсем в этом деле. Здешним вон хозяевам уток-то пальцем показывают и чуть рыбу на крючок не насаживают. Разве это охота?

Большая чашка густой, крепко поперченной ухи так быстро усохла, что Никитич спросил:

— Может, еще чугунок сварим? — Но мы отказались. — А коли сыты, так сейчас же спать. Часа через три разбужу.

Увидев, что мы вытаскиваем из дорожных сумок рыбацкие принадлежности, старик замахал руками.

— Ничего этого не надо. На всех у меня приготовлено, и окуней я уж подговорил. Хороших. Ваше дело только спать.

Следующий день, с восхода до заката, мы провели на озере. Погода была чудесная и клев хороший. По крайней мере таким он казался нам, хотя Никитич, видимо, не разделял этого взгляда.

— Молодь все идет. Не таких я подговаривал.

По этому случаю даже несколько раз меняли место остановки. Мы пользовались переездами, чтобы поплавать и понырять в хрустальной воде. Положение с клевом, однако, не изменялось. Везде он был сильный, даже излишне беспокойный, но шла мелочь.

— Поедем, нето, в дальнюю курейку. Не там ли мои окуни жируют? — решил Никитич, и наша лодка направилась в северо-западную часть озера. Здесь тоже не оказалось того руна, на какое рассчитывал попасть Никитич, зато место тут было исключительной красоты.

Синарское озеро в своей строгой оправе камня и соснового бора все-таки кажется довольно однообразным. И там, где каменная рама дает трещины, образуя заливы, переходящие в долочки, — там лучшие места. Строгая красота сосновых колоннад здесь разнообразится кудрявой, шумливой зеленью ольховника, черемушника и прочей «каренъги», как зовут здесь этот вид чернолесья.

Сосны, одна другой краше и ровнее, дойдя до спуска в ложок, как будто нарочито подтянулись, почистились от нижних сучьев. На иглистом скользком подножии только черные точки расщеренных шишек да редкие перистые былинки. Зато ниже, в ложке, плетень зелени. Тут и рослая осока, и «пуховые палки», и круглоголовая желтянка, и ребристые листья папоротника. Кажется даже, что деревьям не легко пробиться сквозь этот густой ковер низинных трав. Смешались и звуки. К торжественному полноразличному звуку ворона на лету, какой можно слышать только в сосновом бору, примешиваются посвистыванье иволги и писк пичужек, не видных в густой зелени. И это

смешение звуков красиво в своей пестроте, как узор восточной ткани. Не всегда разберешь рисунок, а чувствуешь в нем бодрость и радость.

В этом красивом уголке и решили делать привал. Сначала, как водится, разожгли костер, варили уху, кипятили чай, купались, валялись по траве, а кончилось все это рассказом о жуткой были Синарского озера. Рассказчиком оказался Никитич, и, надо думать, неожиданно для себя. По крайней мере потом, когда один из нас хотел еще о чем-то спросить, старик откровенно сказал:

— Ой, парень, не бери. Не люблю этого разговору. Так уж это к случаю пришлось.

Дело началось с того, что кто-то из нас углядел на береговом камне не то рисунок, не то орнамент.

На отшлифованном водой ребре камня отчетливо виден был лишь двойной ободок совершенно правильной овальной формы, как будто сделанный по лекалу. В разных местах к овалу примыкал орнамент, образуя ручку и боковые украшения ручного зеркала. Все вместе давало рисунок озера как раз с того места, где был наш привал. В верхней половине ободка можно было прочесть французские слова. Было ли что-нибудь в нижней половине овала, разобрать нельзя, — так все смылось. Затеяливый орнамент, красивое очертание букв и совершенная форма овала — все это говорило, что рисунок и надпись сделаны опытной рукой гравера или художника.

— Иван Никитич, не знаешь, чей это рисунок?

— Где?

— Да вот здесь, на камне.

— Этого баловства у нас сколько хочешь. Который побывает, тот и наследит.

— Вырезано это!

— Вырежут, сделай одолжение! В Каслях-то при заводе чеканкой умеют орудовать. Что попросишь, то и сделают. На сходу недавно говорили, нельзя ли как сократить. Да разве углядишь. Мало ли на озере народу перебивается. А купцы вон нарочно нанимают, чтоб через камень про кого сплетню пустить, либо облаять.

— Да рисунок-то настоящий. Художником, видать, делан. А надпись по-французски.

— Художников при Каслинском заводе мало ли. Всяких языков люди бывали.

Выходило все рядовым, обыкновенным, не стоившим внимания. Тут же на камнях были и другие надписи, о которых так неодобрительно говорил Никитич. Инициалы в сердце, инициалы без сердца и прочая обывательская муть, переходившая порой в прямую мерзость.

Немного погодя Никитич, однако, спохватился.

— Постой. Где рисунок-то? По-французски, говоришь, написано? Уж не шарлова ли работа?

Поспешно подошел и стал рассматривать камень.

— По-русскому-то что будет? Надпись-то эта?

— Зеркало феи Севера. Фея у них вроде лесной богини.

— Так-так. Это он, стало быть, про наше озеро и про лешачиху.

Старик еще посмотрел на рисунок, провел пальцами по внутренней стороне ободка, как будто проверял правильность линии, и проговорил:

— Пожалуй, верно, что шарлова работа.

— Какой Шарлов?

— Да не Шарлов, а Шарло. Художник один был из французов. Убили его тут.

— Кто убил, за что?

— Давнее дело. В зотовскую еще пору было. Слыхали про Зотовых? Коли уж царь их сослал за лютость, так ясно, какие были. Только Зотовы не одни лютовали. Кто-то им помогал. Слуги, значит, верные, зотовские псы.

Вот в это время и жил в Каслях художник Шарло. То ли он от французского нашествия остался, то ли нарочно его выписали, про то не знаю. Только работал он по-вольному и жалование получал по договору. Был он, сказывают, еще молодой, красивый, только здоровья слабого, а по своему делу мастер. Одному-то молодому тоскливо, он и присмотрел себе девушку из наших каслинских. Ему бы первым делом надо было ее из крепости выкупить, да денег, видно, не лишка было, и порядков тогдашних не знал. А зотовские приспешники обнадежили:

— Пустое дело. Потом выкупишь.

Он и понадеялся на эти слова, да и женился. Зотовским это и надо. Только сперва виду не показали. Живет француз с молодой женой, по прежнему положению жалование получает, никто их не тревожит. К году-то у них ребеночек родился. С ребенком мать и вовсе расцвела, — кровь с молоком стала. А француз ее одевал по-господски. Ну, она и вовсе заметная стала против других заводских женщин.

Тут у них беда и пришла. Углядел ее — шарлову-то жену — главный зотовский палач, подозвал и спрашивает:

— Ты чья?

Она уж попривыкла к жизни на воле, спокойненько отвечает: жена-де француза-художника. Палач и говорит:

— Ты вот что. Приходи-ка сегодня вечером ко мне. Прибраться надо вдовому человеку. Да смотри не забудь, а то велю силой привести.

Незадолго перед тем он и верно овдовел. Забил, сказывают, свою жену. Девушкам, которые попригожее, да и молодым мужним женам чистое горе: какую углядит, ту и тащит к себе. Ну, шарлова жена, конечно, не пошла, мужу сказала. Тот загорячился, к самому Зотову побежал жаловаться:

— Как он смеет — это палач-то моей жене такие слова говорить. Я с ней в церкви закон принял, дитя у нас есть.

Говорил по-нашему-то плохо. Только и можно было разобрать — закон да закон. Зотов слушал-слушал, но ничего. То ли нужен ему был этот художник Шарло, то ли стих добрый нашел. Погрозил только тростью, да и говорит:

— Вот тебе закон. Запомни хорошенько. Никакой у тебя жены нет, а поставлена для услуг крепостная девка. Будешь хорошо по своей работе стараться — пускай живет, а чуть неладно — отберу с ребенчишком вместе, потому как он тоже крепостной. А что в церкви тебя венчали, так это для потехи. Ты вовсе и веры не нашей, и женитьба твоя в книгах церковных не записана. Понял? А пока живи, никто тебя не заденет.

Шарло, конечно, приуныл, а сам думает, — не может того быть, чтоб жену с дитем от живого мужа отобрать. Взял да и написал какому-то своему знакомцу в Петербург, посоветоваться с ним хотел. Ну, у Зотова везде куплено было. Письмо это перехватили да Зотову в руки, хоть по-французски писано, а разобрали. Зотов сейчас же француза к себе потребовал, да и говорит:

— Сегодня вечером сведи свою девку приказчику. Ему теперь ее в услуженье передал, а ребенка можешь себе оставить.

Шарло хоть слабый человек, а тут заартачился, крик поднял. Его, понятно, на пожарну сволокли да так ухлестали, что он ни рукой, ни ногой. Потом за женой пришли. Жена у Шарла крепкая попалась, заводской корешок, не сразу ее обломаешь, — руками и ногами отбиваться стала. Ну, все-таки ее уволокли к приказчику — палачу-то этому, который всему делу заводчик оказался.

Как у них там с этим палачом было, не знаю. Совсем с той поры баба как в воду канула. Может, взаперти ее держали, голодом морили. Шарло между тем отлежался и сразу в бега пустился. Расчет имел до Питера добраться. А Зотову это, видно, сильно не с руки: все-таки чужестранный человек, как бы отвечать за него не пришлось. Зотов и велел обложить все леса и дороги. А Шарло далеко-то и не ушел. В лесу около этого озера жил. Любил он Синарское озеро. Раньше, когда еще беда не стряслась, часто сюда бегивал. Когда и с женой приезжал. Место тут знал хорошо, вот его и не могли найти. Говорили, что лешачиха глаза отводила, а может, просто кто и видел, да не видел. Худого людям Шарло не делал, кто станет его выдавать. Так бы его и не нашли заводские ищейки, кабы он сам себя не оказал. Увидел своего обидчика, да и пальнул в него из пистолетика. Ну, а какой он стрелок. Палач живо подмял его, прикрутил веревками к дереву и скорей в Касли — Зотову сказать, что нашел беглого художника. Зотов сам поехал поглядеть, точно ли Шарло, не выдумывает ли палач, чтоб заботу отвести от себя. Приехали к месту, а там никого. Палач дивится.

— И впрямь, — говорит, — ему лешачиха помогает!

Ну, Зотов не из таких был, чтоб его лешачихой испугать, настрого наказал своему приспешнику:

— Ты лешачиху-то дуракам оставь, а мне подай Шарла, живого или мертвого, а так, чтоб я посмотреть на него мог. Не найдешь, самого запорю! Ищи хорошенько. Тут он, по всему видать. Да один-то, смотри, не рыскай по лесу и много людей тоже не бери, чтоб видоков лишних не было.

С этого дня палач с двумя объездчиками и охотился на Шарла, как на зверя. Уследили-таки, поймали. Опять приехал сам Зотов, поглядел и дал приказ кончить так, чтоб узнать человека нельзя было.

Вскоре по заводу и деревням разговор прошел, что на берегу Синарского нашли неизвестного убитого человека. Следствие приехало, народ согнали, — не признает ли кто убитого? А как признать, коли все лицо в лепешку разбито

и одежды никакой. По волосам, говорят, признать можно было. Заметные они были, — срыжа-черные. Да разве кто скажет? Боялись, поди-ко.

Кончилось это дело, а тут оба объездчика, которые с палачом Шарла выслеживали, потерялись. Их сильно и не искали. Видно, большой надобности в них не было. Объявили их беглыми, послали, куда надо, разыскные бумажки, только и всего. Ну, а потом и главного зотовского палача не стало. Не стало и не стало, и следов нет. Зотов тогда опять велел весь лес и дороги обыскать. Потом и по озерам с неводами пошли. Из нашего Синарского всех троих и вытащили. По разным местам с камнями спущены оказались.

Объездчики, видать, убиты неожиданным нападом: один ножом в спину против самого сердца, другой — пулей в затылок. Ну, а у этого доверенного зотовского палача по-другому. Лицо у него не задето. Сразу признать можно. Зато на спине живого места не осталось. Видно, что прутьями его забивали, и не один либо двое, а навалом хлестали. Кто это сделал конец зотовскому палачу, так и не дознались, за всех ответила шарлова жена. Ее Зотов велел тут, у Синарского, намертво кнутями бить.

— Сказывай, — кричит, — кого подговаривала?

А кого она могла подговаривать, коли запертой сидела. С той поры, как ее от мужа увели, она, может, и людей-то посторонних не видала... Как тень, сказывают, стала.

Не выдержала, конечно, женщина, умерла, а девчоночку ихнюю добрые люди воспитали. Выросла она, замуж за нашего заводского вышла, да недолго прожила, и тоже девчоночку после себя оставила. Моей-то покойной жене эта шарлова дочь бабкой доводилась. От жены я и слышал эту побывальщину. Песенку моя покойница пела про Шарла-то, как он на чужой стороне через любовь пострадал. Жалостливые такие слова, нежные, только я их забыл...

Домой возвращались по потемкам. Зеркало уральской феи под луной отливало холодным, мертвенным блеском. Пугали неожиданные всплески крупной рыбы. В них, в этих всплесках, чудились отголоски той звериной жизни, о которой только что рассказывал старый Никитич. Так же вот взметнулась щука, и не стало веселой серебряной рыбки — неведомого французского художника, от которого осталось лишь имя Шарль, и то переделанное на Шарло.

Обратную дорогу молчали. Только Никитич, отвечая, видимо, на свои мысли, проговорил:

— Недолговекие они... Кровь слабая...

